

В. Вересаев

Художник жизни (О Льве Толстом)

I.

< ... >

Флобер говорит: «Я истощился, скача на месте»... «У меня нет никакой биографии»... У Льва Толстого есть биография — яркая, красивая, увлекательная биография человека, ни на минуту не перестававшего жить. Он не скакал на месте в огороженном стойле — он, как дикий степной конь, несся по равнинам жизни, перескакивая через всякие загородки, обрывая всякую узду, которую жизнь пыталась на него надеть... Всякую? Увы! Не всякую. Одной узды он вовремя не сумеет оборвать... Но об этом после.

Как всякий живой человек, Толстой не укладывается ни в какие определенные рамки. Кто он? Писатель-художник? Пророк новой религии? Борец с неправдами жизни? Педагог? Спортсмен? Сельский хозяин? Образцовый семьянин? Ничего из этого в отдельности, но все это вместе и, кроме того, еще много, много другого.

II.

Я не буду останавливаться на детстве Толстого. В детстве все мы — живые люди; в детстве все мы, как Толстой, кипим, ищем, творим, живем. Вон даже Флобер, и тот знал в детстве «великолепные порывы души, что-то бурное во всей личности».

Вот — Толстой-юноша. Он живет в Казани; сначала готовится в университет, потом становится студентом. «Единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование, — вспоминает Толстой в своей «Исповеди». — Я старался совершенствовать свою волю — составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изоощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению». В «Отрочестве» он рассказывает:

«Несмотря на страшную боль, я держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах».

Рядом с этим — другого рода совершенствование — фанатическое, почти религиозное самоусовершенствование в искусстве быть человеком *comme il faut*. Великолепный французский выговор, длинные, чистые ногти, уметь кланяться, танцевать и разговаривать, постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки на лице. Однажды идет Толстой с братом по улице, навстречу едет господин, опершись руками на палку. Толстой пренебрежительно говорит брату:

— Как видно, что этот господин какая-то дрянь!

— Отчего?

— А без перчаток.

Толстой студент усердно посещает все великосветские балы и собрания, всюду танцует, ухаживает за дамами, весь отдается наслаждению жизнью. Вспоминателям и биографам очень хочется рисовать жизнь Толстого, как житие пророка. Н.П. Загоскин в своих воспоминаниях о студенческой жизни Толстого в Казани пишет, что Толстой «должен был» чувствовать «инстинктивный протест» против окружавшей его развращающей среды. В биографии Толстого П.И. Бирюков приводит эти слова Загоскина. Толстой в рукописи просматривал работу Бирюкова. И живой человек, возведенный в сан пророка, с добродушною усмешкою разрушает стройное здание своего «жития» и делает на полях рукописи такое замечание:

«Никакого протеста я не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем обществе».

Далее Загоскин выражает удивление нравственной силе Льва Николаевича, сумевшего устоять против всех этих соблазнов. Толстой замечает:

«Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолodu быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью».

Рассеянная светская жизнь далеко не поглощает всех сил Толстого. Он в то же время много работает, читает, думает; пишет статью «О цели философии». В 1847 году он выходит из университета. Почему? Одна из причин была та, что уезжал из Казани брат его Николай; вторая причина — очень характерная для Толстого, никогда не любившего ходить в жизни проторенными дорожками. Профессор гражданского права Меер задал ему работу — сравнить «Наказ» Екатерины с «Духом законов» Монтескье. Толстой увлекся этой работой.

«Она открыла мне, — вспоминает он, — новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей».

Следующие три-четыре года Толстой проводит в Москве и Ясной Поляне. Жадно и бурно отдается наслаждению жизнью. Светские удовольствия, охота, связи с женщинами, увлечение цыганками и особенно картежная игра. Она была едва ли не самой сильной из его страстей, и случалось, проигрывался он очень жестоко. Эти периоды бурного наслаждения жизнью сменяются припадками религиозного смирения и аскетизма.

В 1851 году он уезжает на Кавказ юнкером. Живет в станице, дружит с казаками, ухаживает за казачками. Кутит, играет в карты, играет своею жизнью. Отправляется в рискованные экскурсии. Однажды неприятельская граната разорвалась у самых ног Толстого, разбив колесо и лафет пушки, при которой Толстой был «уносным фейерверкером». Уже в глубокой старости Толстой несколько раз вспоминает об этом случае и в письмах, и в дневнике:

«Если бы дуло пушки, из которой вылетело ядро, на одну тысячную линию было отклонено в ту или другую сторону, я бы был убит».

В другой раз, во время «сквозной оказии» на Грозную, Толстой чуть не попал в плен к чеченцам и только благодаря лихости своего коня ускакал от них со своим кунаком, мирным чеченцем Садо. В это же время в «Современнике» появляется первое литературное произведение Толстого «Детство» и обращает на себя внимание всех любителей литературы.

Толстой переводится в дунайскую армию, действующую против турок, участвует в осаде Силистрии. Он захлебывается огромными впечатлениями жизни. «Сколько я переузнал, перечувствовал в этот год!» — пишет он брату Сергею. Начинается севастопольская кампания. Толстой спешит перевестись в Крым. Один из бывших боевых товарищей его вспоминает:

«Толстой своими рассказами и куплетами воодушевлял всех в трудные минуты боевой жизни. Он был в полном смысле душой батареи. Толстой с нами — и нет конца общему веселью. Нет графа, укатил в Симферополь — и все носы повесили. Возвращается мрачный, исхудалый, недовольный собою. Отведет меня в сторону подальше и начнет покаяние, как кутил, играл, где проводил дни и ночи, — казнится и мучится, как настоящий преступник».

В бригаде Толстой оставил по себе память как ездок, весельчак и смельчак. Так, он ложился на пол, на ноги ему ставился в пять пудов мужчина, и он, вытягивая руки, поднимал его вверх. На палке никто его не мог перетянуть. Толстой выдерживает знаменитую севастопольскую осаду, обращает на себя общее внимание своею храбростью. В «Современнике» появляются его рассказы «Севастополь в декабре», «Севастополь

в мае» и производят сенсацию. Вдова Николая I плачет над этими рассказами, Александр II приказывает перевести их на французский язык.

После сдачи Севастополя Толстой был послан курьером в Петербург. Он приехал, окруженный двойным ореолом — героя, вышедшего из ада осажденного Севастополя, и восходящего литературного светила первой величины.

«Вернулся из Севастополя с батареи, — рассказывал Тургенев Фету, — остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой».

Петербургская литературная семья приняла Толстого с распростертыми объятиями. Семья эта была очень блестящая: Тургенев, Некрасов, Гончаров, Островский, Григорович, Фет... Но не застенчивым новичком, ослепленным блеском ярких имен, вступает Толстой в эту заповедную среду.

«С первой минуты, — рассказывает Фет, — я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений».

«Какое бы мнение ни высказывалось, — сообщает Григорович, — и чем авторитетнее казался Толстому собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы, можно было подумать, что он как бы заранее обдумывает не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника». Всех он ворошит, задирает, раздражает — и всех поражает огромностью стихийно кипящего в нем таланта. Писемский мрачно говорит: «Этот офицеришка всех нас заклюет, хоть бросай перо!»»

В ноябре 1856 Толстой выходит в отставку. Ну, теперь жизнь писателя определена. Общеизвестный талант, редакции наперебой приглашают его в свои журналы. Человек он обеспеченный, о завтрашнем дне думать не приходится — сиди спокойно и твори, тем более что жизнь дала неисчерпаемый запас наблюдений. Перебесился, как полагается молодому человеку, теперь впереди — спокойная и почетная жизнь писателя. Гладкий, мягкий ход по проложенным рельсам. Конец биографии.

Но не так у Толстого. Биография только начинается. Да, он пишет, одно за другим дает произведения, вызывающие все большие надежды. Но вместе с тем уезжает к себе в деревню и страстно берется за сельское хозяйство. Вводит всяческие улучшения, дело кипит. Но за что ни возьмется, всего ему мало. Брат его Николай рассказывает Фету:

«Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело иначе: «Придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одной коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться»».

На глазах Толстого рабочие пашут, косят, молотят; среди них выдается красотой и уверенностью работы один работник, Юхван. И уж, конечно, простым зрителем Толстой оставаться не может: ему непременно нужно всему этому научиться, и научиться как можно лучше, чтоб работать не хуже самого Юхвана. И он с увлечением «юхванствует», перенимает все приемы Юхвана, ходит за сохой, растопырив локти, как Юхван. Это выражение — «юхванствовать» — навсегда осталось в семье Толстого для обозначения увлечения его сельскохозяйственными работами. Страстно увлекается он также охотой. Однажды Толстой чуть не погиб от медведицы. Она повалила его в снег и начала грызть голову — прорвала ему щеку под левым глазом и сорвала всю левую половину кожи со лба. В то же время Толстой начинает заниматься в школе с крестьянскими детьми.

Товарищи-писатели, суть жизни своей видящие в писательстве, с усмешкой разводят руками, глядя на этот огромный талант, как будто так мало придающий себе значения. Тургенев пишет Фету:

«А Лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уж ему написано на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и встанет на ноги?»

А Толстой, весь захваченный жизнью, как будто совсем забывает о писательстве — он уже автор «Детства и отрочества», кавказских и севастопольских рассказов, «Трех смертей», «Семейного счастья». И товарищи из сил выбиваются, стараясь направить заблудшего на «настоящий путь». Дружинин пишет ему в 1860 году:

«На всякого писателя набегают минуты сомнения и недовольства собою, и, как ни сильно и ни законно это чувство, никто еще из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца. Но у Вас все стремления, и добрые и недобрые, держатся с особым упорством, потому Вам нужнее, чем кому другому, подумать о том. Прежде всего вспомните, что после поэзии и труда мысли все труды кажутся дрянью. Qui a vi, boiga и в тридцать лет оторваться от деятельности писателя значит лишить себя половины всех интересов жизни».

Но в том-то и особенность Толстого, что нет для него живого труда, который бы мог ему показаться дрянью, раз он захватил его душу. И вот он — художник — едет за границу с специальной целью изучить постановку там школьного дела. Обезжизняет Германию, Швейцарию, Италию, Францию, Англию, Бельгию. Жадно, как всегда, ловит впечатления.

«Я везу, — пишет он своей тетушке Т.А. Ергольской, — такое количество впечатлений, знаний, что я должен бы много работать, прежде чем уложить все это в моей голове».

В Россию Толстой возвращается в апреле 1861 года, в самый разгар радостного возбуждения и надежд, охвативших русское общество после манифеста 19 февраля об освобождении крестьян. Толстой рассказывает:

«Что касается до моего отношения тогда к возбужденному состоянию общества, то должен сказать (и это моя хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной), что я всегда противился невольно влияниям извне, эпидемическим, и что, если я тогда был возбужден и радостен, то своими особенными, личными, внутренними мотивами — теми, которые привели меня к школе и общению с народом».

Всею головою Толстой уходит в самую разностороннюю деятельность — занимается сельским хозяйством, работает в качестве мирового посредника, вызывая злобу и доносы дворянства; главным же его делом теперь становится народная школа. Он открывает в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам занимается с ними, пишет ряд статей о народном образовании, издает педагогический журнал «Ясная Поляна». Как всегда у Толстого, все у него ново, своеобразно, дерзко, ко всему свой подход вне всякого шаблона. Не будем оценивать педагогических взглядов Толстого. Но посмотрите, как все оригинально и необычно в этой школе, созданной Толстым, как непохоже на школу, какую мы привыкли ее себе представлять.

«На деревне встают с огнем, — пишет Толстой. — Уж давно виднеются из школы огни в окнах, и в тумане, дожде или в косых лучах осеннего солнца появляются на буграх темные фигурки. С собою никто ничего не несет — ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Никогда никому не делают выговоров за опоздание, и никогда не опаздывают, нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу».

И послушайте, каким образом происходит преподавание в этой школе. Вот перед нами, так сказать, амбулаторный урок народоведения. Толстой вечером выходит с ребятами из школы.

«На дворе было не холодно — зимняя безмесячная ночь с тучами на небе. Мы пошли через лес. Дорожка чуть виднелась, огни деревни скрылись из вида. Мы разговорились о кавказских разбойниках. Я стал рассказывать об абреках, о казаках, о Хаджи Мурате. Семка шел впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачиваясь здоровой спиной. Пронька попытался было идти

рядом со мной, но Федька сбил его с дорожки, и Пронька, должно быть по своей бедности всегда всем покоряющийся, только в самых интересных местах забегал сбоку, хотя и по колени утопая в снегу. Всякий замечал, кто немного знает крестьянских детей, что они не привыкли и терпеть не могут всяких ласк — нежных слов, поцелуев, троганий рукой и т. п. Потому-то меня особенно поразило, когда Федька, шедший рядом со мной, в самом страшном месте рассказа, вдруг дотронулся до меня слегка рукавом, потом всей рукою вдруг ухватил меня за два пальца, и уж не выпускал их. Только что я замолкал, Федька уж требовал, чтобы я говорил еще и таким умоляющим, взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания.

— Ну, ты, суйся под ноги! — сказал он раз сердито Проньке, забежавшему вперед; он был увлечен до жестокости, ему было так жутко и хорошо, держась за мой палец, и никто не должен был сметь нарушать его удовольствие. — Ну, еще, еще! Вот хорошо-то! Мы прошли лес и стали с другого конца подходить к деревне.

— Пойдем еще, — заговорили все, когда уже стали видны огни. — Еще пройдемся!

Мы шли, кое-где проваливаясь по рыхлой, плохо наезженной дорожке; белая темнота как будто качалась перед глазами, тучи были низкие; конца не было этому белому, в котором только мы одни хрустели по снегу; ветер шумел по голым макушкам осин, а нам было тихо за лесом. Я кончил рассказ тем, как окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. Семка спросил:

— Зачем же он песню запел, когда его окружили?

— Ведь тебе сказывали, — умирать собрался! — огорченно ответил Федька.

— Я думаю, что молитву он запел, — прибавил Пронька.

Все согласились. Мы остановились в роще за гумном, под самым краем деревни. Семка поднял хворостинку из снега и бил ею по морозному стволу липы... Мне странно повторить, что мы говорили тогда, но я помню, мы переговорили, как мне кажется, все, что сказать можно о пользе, о красоте нравственной и пластической».

Да, счастлив был Толстой, что умел так описать все это. Но еще более счастлив он был, что умел все это пережить, что умел извлекать из жизни такие радости!

III.

В сентябре 1862 года в жизни Толстого происходит событие, оказавшее огромное влияние на всю его последующую жизнь. Он женится на восемнадцатилетней девушке Софье Андреевне Берс.

К браку Толстой всегда относился очень серьезно, почти благоговейно, и видел в нем очень важный акт жизни. Еще в 1854 году он пишет брату Сергею с батареи около Севастополя:

«Одно беспокоит меня: я четвертый год живу без женского общества, и могу совсем загрузеть и не быть способным к семейной жизни, которую я так люблю».

В 1856 году он пишет одной девушке, бывшей некоторое время почти что его невестой:

«От этого-то я так боюсь брака, что слишком строго и серьезно смотрю на это. Есть люди, которые, женись, думают: “ну, не удалось тут найти счастье, у меня еще жизнь впереди”. Эта мысль мне никогда не приходит, я все кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенно счастья, то я погублю все — свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу резаться».

Кстати сказать, роман Толстого с этой барышней (Валерией Владимировной Арсеньевой), недавно только, после смерти Софьи Андреевны опубликованный, производит очень для Толстого тяжелое впечатление своею рассудочностью и неразвернутостью: только-только еще зарождается чувство, обе стороны даже еще не уверены вполне, любят ли они — а Толстой все время настойчиво уж говорит о требованиях, которые он предъявляет к браку, рисует картины их будущей семейной жизни и т. п. Серенький роман этот интересен только как показатель силы, с какою Толстой рвался к семейной жизни.

Софья Андреевна для тогдашнего Толстого оказалась прямо идеальной женою и вполне осуществила в себе те требования, которые Толстой предъявлял к семейной жизни. Красавица, светски воспитанная (что для тогдашнего Толстого являлось необходимым условием); умелая, домовитая и энергичная хозяйка дома, всегда со связкой

ключей на поясе; патриархально-семейственная, всю жизнь свою кладущая в мужа и детей. Чуть не год за годом идут у них дети, и оба они только радуются на это. Между мужем и женою — то тонкое, своеобразное взаимодействие, взаимодействие мужского и женского начал, которое обрисовано в «Войне и мире» в отношениях между Пьером и Наташей.

«После семи лет супружества, — рассказывает Толстой, — Пьер чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было истинно-хорошо; все не совсем хорошее было откинуто. И отражение это произошло не путем логической мысли, а другим, таинственным, непосредственным отражением».

Софья Андреевна являлась неумолимою заботницею о Толстом и помощницею в его литературных работах. Она окружила его самым внимательным и нежным уходом, строго, ревниво оберегала его покой и удобства во время работы. Переписывала его черновики, которые он потом черкал и исправлял, а она опять переписывала. Но участие ее в творческой работе Толстого не ограничивалось только такою внешнею помощью. «Вот, Таня, я настоящая писательская жена!» — пишет она в 1874 году своей сестре. Действительно, она была настоящею писательскою женою.

В чем достоинства такой писательской жены, истинной подруги и помощницы в творческой работе мужа-художника? Не просто в том, что она обладает тонким критическим чутьем и эстетическим вкусом, умением понять то, что хотел сказать художник. Дело гораздо сложнее и тоньше. Бессознательным, интуитивным женским своим чутьем она чувствует саму душу художника-мужа, сливается с нею и как бы сама живет душою в этой родной ей душе. Этим бессознательным своим чутьем она безошибочно улавливает в работе своего друга все фальшивое, слабое, неудавшееся. Ей незачем доказывать, обосновывать свое мнение, она, может быть, даже не сумеет этого. Но нужно ли и самому-то художнику доказывать себе, что такое-то место фальшиво или слабо, раз он почувствовал это? Такая подруга-жена художника является живым воплощением его собственной художественной совести. «Это плохо, фальшиво!» — Почему? — «Не знаю, а только плохо, фальшиво!» И такой умственно-неубедительный довод убеждает художника, потому что она высказала только то, что ему говорила его собственная художественная совесть, но что он хотел задушить, заглушить в себе из лени, из нежелания опять и опять перерабатывать неудавшееся место. Сила и слабость такой подруги-жены заключается в том, что она чувствует, что именно может и должен сделать не художник вообще, а именно он, данный художник, Лев Николаевич, потому что с ним созвучна ее душа. Незаменимая помощница и вдохновительница для Толстого, она, наверное, только вредила бы своею помощью и мешала бы, например, Достоевскому. А умный друг-мужчина, вроде Н.Н. Страхова, своими тонкими критическими замечаниями одинаково был бы полезен и Толстому, и Достоевскому. У женщины же дело не в уме, не в ее «малом умственном хозяйстве», которое Толстой ставит очень невысоко, а в могучей и огромной силе иррационального чувствования.

В 1864 году, во время работы над «Войной и миром», Толстой пишет Софье Андреевне:

«Ты, глупая, со своими неумственными интересами, мне сказала истинную правду. Все историческое не клеится и идет вяло».

В 1878 году он пишет Фету:

«Прочтя ваше стихотворение, я сказал жене: “стихотворение Фета прелестно, но одно слово нехорошо”».

Она кормила и суежилась, но за чаем, успокоившись, взяла читать и тотчас же указала на то слово, которое я считаю нехорошим: “как боги”».

Восемнадцать лет этой счастливой семейной жизни были для Толстого временем наиболее продуктивного художественного творчества. За этот период им написаны «Война и мир» и «Анна Каренина», не говоря о многих мелких рассказах. Но колоссальная работа по созданию этих произведений берет только небольшую часть сил Толстого. То и дело он отрывается от этой работы для неудержимо манящей его жизни во всех ее проявлениях. В 1863 году он пишет Фету:

«Я живу в мире, столь далеко от литературы, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же такой написал “Кзаков” и “Поликушку”? Да и что рассуждать о них?.. Теперь как писать? Я в “юхванстве” опять по уши. У меня пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня».

В 1870 году он пишет Фету:

«С утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Невероятно, и ни на что непохоже. А *livre ouvert* читаю Ксенофонта. Жду с нетерпением показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь! Я убедился, что из всего истинно-прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как все».

Не зная до того греческого языка, Толстой изучил его в три месяца. Свой «фокус» он показал в Москве проф. Леонтьеву. Тот не хотел верить в возможности такого быстрого изучения древнего языка и предложил почитать вместе с ним *a livre ouvert*. В трех случаях между ними произошло разногласие в переводе. После уяснения дела профессор признал мнение Льва Николаевича правильным. Но такой бешеный темп занятий греческим языком совершенно расстроил здоровье Толстого, и ему пришлось ехать в самарские степи лечиться кумысом.

Опять всею головою Толстой уходит в школьное дело. Занимается в школе сам, приохочивает к занятиям Софью Андреевну, пишет статьи о народном образовании, подвергает уничтожающей критике существующие методы народного обучения, изобретает свой способ обучения грамоте, устраивает в Москве состязание с Московским Комитетом Грамотности в сравнительных достоинствах своего метода и общепринятого звукового. Наново пишет учебники по всем предметам.

«Я до одурения занимаюсь эти дни окончанием арифметики, — сообщает он Страхову. — Вы будете смеяться надо мною, что я взялся не за свое дело, но мне кажется, что арифметика будет лучшее в книге».

И тетушке своей, графине А.А. Толстой, он пишет:

«Я опять в педагогике, как четырнадцать лет тому назад; пишу роман, но часто не могу оторваться от живых людей для вообразяемых».

И прибавляет, что о себе ему писать нечего, потому что «счастливые народы не имеют истории».

И все-таки всего ему мало, этому ненасытному к жизни человеку. Жадными, «завидушими» глазами смотрит все время Толстой на жизнь и все старается захватить в ней, ничего не упустить. Все он переиспытал, все умеет, все знает — и не как-нибудь, не по-дилетантски, а основательно. Приехал в Ясную Поляну один француз. Беседуя с Толстым и графиней на кругу, перед домом, француз подошел к реку, на котором упражнялись сыновья Толстых и проделал какой-то нехитрый тур.

— Вот это искусство вам, граф, уж наверно незнакомо! — любезно заискивающе обратился он к Толстому.

Лев Николаевич засмеялся и начал наглядно показывать французам, как надо обращаться с реком. Француз только покачивал головой и восклицал на все лады: «ого! ага!», при виде, как чисто и отчетливо проделывал Лев Николаевич различные упражнения на руках.

Умел ли Тургенев играть на фортепиано? Знал ли Достоевский древнееврейский язык? Пробовал ли Гончаров заниматься скульптурой? Играл ли Некрасов в шахматы?

Ездил ли Чехов на велосипеде? Играл ли Короленко в лаун-теннис? Умел ли Фет вязать чулки? Вопросы странные и смешные. Какое отношение это имеет к упомянутым писателям? Может, умели, может, нет. А о Толстом заранее можно уверенно сказать: да, все это он пробовал, все это умел. И относительно него эти вопросы не смешны. Я не знаю, умел ли Толстой вязать чулки. Но я знаю, что до женитьбы Толстой проводил длинные зимние вечера в Ясной Поляне со старушкой няней Агафьей Михайловной. И просто нельзя представить себе, чтоб, глядя как она на его глазах вяжет чулки, он не захотел бы сейчас же все это понять и научиться делать сам.

Детское что-то есть в той внимательной и радостной серьезности, с какою Толстой делает всякое дело. И совершенно с тою же серьезностью он способен жить чисто детскими радостями. Девушке-переписчице он уже восьмидесятилетним стариком говорит:

— А как мне хотелось вчера с вами прыгать с лестницы! Главное, обидно было, что никто из вас не умел прыгнуть, как следует. Надо прыгнуть и присесть немножко.

И вот что он пишет в 1864 году жене:

«Веселее всего, даже блан-манже и шума, и Николая Богдановича было вчерашний день то, что мы с Таней и Петей в пристройке повторяли все: “Са-а-аш Куп фер-шмидт!” (!!! staccato) этаким голосом».

Вы только представьте себе: взрослый, тридцатилетний человек, как раз в это время писавший «Войну и мир» — произведение, всей глубины которого и доселе еще не в силах вскрыть критика, — засел в пристройке с ребятами подростками и, забавляясь гулками отзвуками, в радостном одушевлении кричит с ребятами «этаким голосом»:

— Са-а-аш Куп фер-шмидт!!!

Ощущение блаженной и творческой полноты этой красивой, гармонической жизни хорошо передает в своих детских воспоминаниях один из сыновей Толстого, Лев Львович. Мальчик смотрит в окно, как отец едет на прогулку.

«Я наблюдал, как отец садился верхом, как он собирал поводья в левую руку и ловким движением закидывал правую ногу за седло. Не успев вдеть ногу в стремя, он отъезжал от крыльца, увозя с собою на простор природы свои мысли и вдохновения. Я хорошо чувствовал тогда настроение отца и то, чем он жил и чем был счастлив. Он писал. День за днем он развертывал из своего воображения бессмертную повесть, и ничто не мешало ему в этом, а, напротив, все содействовало. Он был счастлив, занятый своею любимую работою, потому что она легко удавалась ему, потому что он делал дело, которое прежде всего удовлетворяло его самого, потому что от жизни он в то время получил все, что только мог и чего хотел. У него была жена, совершенно исключительная по достоинствам женщина, была куча здоровых детей, была слава, кругом его была русская природа и русский народ, который он привык любить с детства больше всего на свете...»

Маленький Лева лежит вечером в постели и думает. Из залы доносятся тихие аккорды: отец сидит за фортепиано, обдумывая на завтра свой роман, и тихо играет.

«Умиленный, я засыпаю под эти звуки, чтоб проснуться завтра для нового счастливого дня. Я безотчетно чувствовал в те годы, что целое море счастья было разлито вокруг моей детской жизни; я не понимал тогда, что этим морем, этим великим океаном была жизнь моего отца».

Действительно, счастье было полное. Трудно представить, чего же не хватало для еще большей полноты этого счастья.

И сбылось то, о чем Толстой мечтал в юности:

«Мне хотелось, чтоб меня все знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя — и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь».

Так оно и случилось. Стоило Толстому появиться в каком-нибудь собрании — и все именно бывали «поражены этим известием», готовы были обступить его и восторженно благодарить. Самые знаменитые люди за счастье считали послужить Толстому своим талантом. Однажды Толстой по случайным причинам не смог попасть на концерт приехавшего в Москву Антона Рубинштейна, и был этим очень огорчен. Антон Рубинштейн узнал про это, приехал сам к Толстому и целый вечер играл ему. Толстой заинтересовался

музыкою Чайковского. И Чайковский, польщенный по его словам, «как никогда в жизни», специально для одного Толстого устраивает в консерватории концерт из своих произведений. Исполнители в этот вечер, пишет Чайковский, «играли как никогда. Видно было, что, играя так удивительно хорошо, они старались для очень любимого и дорогого человека».

Ко всему этому жизнь Толстого отнюдь не была узкоэгоистической. Беды, которые попадались ему на глаза, вызывали в нем горячий сочувственный отклик и потребность сейчас же вмешаться, действовать. В 1866 году рядовой Шибунин, солдат расположенного близ Ясной Поляны полка, дал пощечину своему ротному командиру, изводившему его несправедливыми придирками. Солдат был предан военно-полевому суду. Толстой выступил его защитником, сказал на суде горячую речь, но, конечно, ничего не добился. Шибунин был приговорен к смертной казни и расстрелян.

В 1873 году Толстой проводил лето в Самарской губернии. После нескольких недородных годов губернию поразил полный неурожай. Надвигался голод. Между тем не только никто в центре не знал об этом, но даже местная администрация не знала... или не хотела знать. Толстой поднял шум в газетах, ярко обрисовал надвигающуюся беду, страстно звал на помощь... И посыпались пожертвования, всюду образовались комитеты помощи голодающим...

IV.

Толстому шел шестой десяток лет. Уж теперь-то, казалось бы, жизнь вполне определилась — счастливая и самоудовлетворенная жизнь большого художника, получившего всеобщее признание. И в это-то как раз время в душе Толстого происходит глубокий надлом, и вся его на редкость счастливая, гармоническая жизнь совершенно для него обесмысливается. Вопросы о ценности жизни, о смысле ее перед лицом неизбежной смерти — вопросы, занимавшие в его произведениях и раньше центральное место, — теперь встают перед ним с настойчивостью небывалою. Острота их сама по себе в большой степени обуславливалась, по-видимому, тою своеобразною физической ломкою, которая происходит в организме человека на перевале, отделяющем зрелый возраст от старости. В своей «Исповеди» Толстой рассказывает об отчаянии, которое овладело им, о том, как он близок был к самоубийству, как прятал от себя шнурок, чтоб не повеситься, и не ходил с ружьем на охоту, чтоб не застрелиться. Конечно, он бы не убил себя — слишком велик был в нем запас жизненной энергии, слишком исчерпывающие ответы дал на эти проклятые вопросы сам он, как художник, из бессознательных глубин своего влюбленного в жизнь духа. Он нашел бы то или иное оправдание жизни, перевал был бы перейден, и явилась бы новая душевная гармония — гармония умиротворенной, просветленной старости.

Но в состоянии того обостренного зрения, которое было вызвано указанным кризисом, Толстой увидел еще нечто такое, что сделало совершенно невыносимым возвращение к какой бы то ни было гармонии прежнего типа. Выбит был из-под здания какой-то самый основной устой, и все прекрасное, гармоническое здание заколебалось и рухнуло навсегда. Устой этот был выбит ярко и глубоко почувствованною истиною, которую Толстой формулирует в «Исповеди» так:

«Жизнь нашего круга не есть жизнь, а только подобие жизни; условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь... Жизнь трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, это — сама жизнь, и смысл, придаваемый этой жизни, есть истина».

Широко открывшимися глазами человека, проснувшегося от глубокого сна, смотрит Толстой на окружающие уродства жизни. Какое же возможно гармоническое, не возвращающее душу счастье среди этой униженной, задавленной, задыхающейся жизни?

До этого времени Толстой был поистине «пьян счастьем». Он был как-то странно слеп к неустройствам жизни. Попадавшие ему на глаза беды и несправедливости вызывали в нем горячий отклик и действенное сочувствие; но все они были для него так

чем-то, печальными случайностями жизни. В конце сороковых годов он поселяется в своей крепостной деревне, с большим одушевлением старается улучшить жизнь принадлежащих ему рабов, но ему и в голову не приходит, что их беспечность, развращенность и нелюбовь к труду являются неизбежным последствием рабства, что прежде всего нужно их отпустить на волю. Мало того, уже много позже, в своем ответе, критикам «Войны и мира» он с задором утверждает, что так называемые «ужасы крепостного права» были редкими исключениями, что в общем крестьянам жилось тогда ничуть не хуже, чем теперь. Или вот, едет он за границу и в Люцерне наблюдает, как нищий-певец поет перед богатым отелем, как богачи туристы с удовольствием слушают его и холодно отворачиваются, когда он протягивает к ним шапку. Толстой возмущен, взбешен; в этом маленьком проявлении огромного уклада мешанской жизни он видит что-то небывало возмутительное, чудовищное, в рассказе своем «Люцерн» публикует на весь мир это событие с точным указанием места и времени, и предлагает желающим «исследовать» этот факт, справиться по газетам, кто были иностранцы, занимавшие в тот день указываемый отель.

Но теперь — теперь хмель счастья рассеивается. Все доступное человеку счастье, все целиком, пережито Толстым, испробовано.

Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse, –

«светом становится все, чего я коснусь, углем становится все, что я оставляю». И сиявшее таким ярким светом личное счастье превращается в перегоревший уголь, в золу, которая совершенно неспособна дать душе ни света, ни тепла.

«У нас теперь много народа – пишет Толстой Черткову, – мои дети и Кузьминских, и часто я без ужаса не могу видеть эту безнравственную праздность и обжирание. Их так много, они все такие большие, сильные, и я вижу и знаю весь труд сельский, который идет вокруг нас. А они едят, пачкают платье, белье и комнаты. Другие для них все делают, а они ни для кого, даже для себя ничего. А это всем кажется самым натуральным, и мне так казалось, и я принимал участие в заведении этого порядка вещей».

А вот другая сторона, судьба людей, не призванных к участию на пиршестве жизни. В Москве к Толстому пришел однажды его переписчик, ночующий в ночлежном доме, и взволнованно рассказал следующее: в той же ночлежке жила больная двадцатидвухлетняя прачка; она задолжала за квартиру шестьдесят копеек, и полиция, по жалобе хозяйки, выселила ее. Больная и голодная, она весь день просидела на паперти церкви, вечером воротилась к дому, упала в воротах и умерла. Толстой пошел в ночлежку.

«Деревья Нескучного сада синели через реку; порыжевшие воробьи так и бросались в глаза своим весельем; люди как будто тоже хотели быть веселы, но у них у всех было слишком много работы».

Он пришел на квартиру.

«В подвале гроб, в гробу почти раздетая женщина с заостреннейшей, согнутой в коленке ногой. Свечи восковые горят. Дьячок читает что-то вроде панихиды, я пришел любопытствовать. Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено несвежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением — зачем говорить, если нельзя поправить. Вот когда я молюсь: “Боже мой, научи меня, как мне жить, чтобы жизнь моя не была мне гнусной!”»

И он прибавляет в своем дневнике:

«А солнце греет, светит, ручьи текут, земля отходит. И Бог говорит: живите счастливо!»

И с страстным, безоглядным увлечением Толстой, никогда ни в чем не знавший половины, делает из этого свой вывод — своеобразный и решительный, отвергающий всякие компромиссы:

«Да, на слова людей, которые скажут, что наука, свобода, культура исправит все это, можно отвечать только одно: “Устраивайте, а пока не устроено, мне тяжелее жить с теми, которые живут с избытком, чем с теми, которые живут с лишениями. Устраивайте, да поскорее, я буду дожидаться

внизу”... Чтобы устроить, мало материально все переменить, увеличить; надо душу людей переделать, сделать их добрыми и нравственными. А это не скоро устроите, увеличивая материальные блага. Устройство одно — сделать всех добрыми. А для этого едва ли не лучшее средство — уйти от празднующих и живущих потом и кровью братьев, и пойти к тем замученным братьям. Не едва ли, а наверное».

Нужно отдать все свое имущество, отказаться от всех культурных навыков, опроститься, жить трудовой жизнью, не противиться злу насилием, смиряться, терпеть, и не словами, а собственной жизнью своей проповедовать людям добро и любовь. Я не имею в виду рассматривать и подвергать критике эти взгляды Толстого. Но совершенно ясно одно: слишком все это было высказано категорически и безусловно, это не было «литературой», теоретическими рассуждениями «вообще», это был единственный, неизбежный для Толстого жизненный выход, слово его повелительно требовало от него своего претворения в жизнь. «Я буду дожидаться внизу».

И вот он — он все-таки остается «наверху». Друзья в недоумении, враги злорадствуют. Он с прежнею страстностью продолжает проповедовать, все время: «я понял», «мне стало ясно» — а сам вниз не идет. Богатств своих не раздаст — как жуликоватый купец, подготавливающий злостное банкротство, переводит имущество на имя жены; продолжает жить в барской усадьбе прежнею роскошною жизнью, а из требований своего учения приспособливает для себя то, что выгодно и приятно: занимается физическим трудом — очень полезный моцион при умственной работе, носит удобную блузу вместо стеснительных сюртуков и крахмальных воротничков, бросил пить вино и курить, что весьма полезно для здоровья. И даже деньгами никому не хочет помогать: он, видите ли, отрицает пользу денежной помощи. Помните вы гаденькие подхихикивания Мережковского, рисующего, как Толстой спасается от мужика, просящего у него на корову, как перепрыгивает через канаву со словами: «я этого ничего не знаю!». Словом — лицемерие, фарисейство, искание популярности, желание производить вокруг себя шум.

Попробуем стать на эту точку зрения. Прежде всего, какой же был для Толстого смысл искать популярности, славы? Слава, как мы видели, была такая, что большей и желать было невозможно. И слава прочная, без терний, никем не оспариваемая. А тут все время — и в печати, и в бесчисленных письмах, и в разговорах с искренними искателями — постоянно одно и то же: «что проповедуешь — и как живешь!». И в ответ — бегать глазами по сторонам, оправдываться, никому не убедительными доводами объяснять расхождение своего слова с делом. Хорошая слава, приятная! И врагу такой не пожелаешь!.. А живи Толстой по-прежнему, не обличая сам своей жизни, — кто бы со стороны упрекнул его за его благосостояние? Всякий бы сказал: хвала судьбе, что автор «Войны и мира» имеет возможность творить в благоприятных условиях! Ведь в ужас приходишь, когда видишь, как приходилось работать, например, несчастному Достоевскому, как он наспех писал свои вещи, не успевая их даже перечитать, как в отчаянии восклицал: «Если бы мне достался Тургенев или Толстой — да я бы такую вещь написал, что ее бы и через сто лет перечитывали!» Да, никто бы не упрекнул Толстого. На что уж Советская власть беспощадна ко всяким имущественным привилегиям, а и она вскоре после своего установления поспешила назначить исключительно крупную пенсию — да еще не самому Толстому, тогда уже умершему, а его вдове, игравшей в последнем периоде жизни Толстого весьма сомнительную роль.

И что, наконец, — с указанной точки зрения — мешало Толстому осуществить в жизни его учение? При его потребностях в последнее время богатство его было для него одеялом в сто аршин. Взял бы он себе две-три десятинки, построил бы скромный хуторок, поселился бы в нем с одною из сочувствующих ему дочерей, Марьей или Александрой Львовной; развел бы огород, пчельник, обрабатывал бы поле. К физическому труду он был очень способен и охоч, работу деревенскую издавна знал великолепно. Один яснополянский крестьянин отзывался о нем: «Как работает, как пашет, как косит! И силища какая! Если плоха лошадь, то его хоть самого запрягай в соху. Без обеда выходит три

осминника». И если бы Толстой роздал свое имение, какая могла бы ему грозить нищета? Да за любую повесть или статью он всегда мог, если бы хотел, получить колоссальный гонорар. Нет, даже с этой обывательской точки зрения Толстому решительно ничего не мешало устроить жизнь по своему учению — по крайней мере, в таком масштабе, чтобы заткнуть рты хулителям.

А что Толстой переживал в душе за время своего сидения в Ясной Поляне, это мы имеем возможность узнать только теперь, когда нам, по крайней мере, в некоторой степени стали доступны его дневники и интимные строки из писем к друзьям. Мучительно читать их. Это какой-то сплошной вопль отчаяния человека, который задыхается от отсутствия воздуха, бьется о стены своей тюрьмы и не может вырваться на свежий воздух.

«Неужели, — пишет он Черткову, — так и придется мне умереть, не прожив хоть один год вне того сумасшедшего, безнравственного дома, в котором я теперь вынужден страдать каждый час, не прожив хоть одного года по-человечески разумно, то есть в деревне, не на барском дворе, а в избе среди трудящихся, с ними вместе трудясь по мере своих сил и способностей, обмениваясь трудами, питаюсь и одеваюсь, как они, и смело без стыда говоря всем ту Христову истину, которую знаю».

«Отец, помоги мне! — пишет он в дневнике. — Впрочем, уже лучше. Особенно успокаивает задача, экзамен смирения, унижения, совсем неожиданного, исключительного унижения. В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его, как посланное от Бога испытание».

И одиночество — поражающее, глухое одиночество.

«Вы, верно, не думаете этого, — пишет Толстой в одном письме, — но вы не можете себе представить, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий “я”, презираемо всеми, окружающими меня».

«Чувствую, — пишет он в дневнике, — что моя жизнь, никому не только не интересна, но скучно, совестно им, что я продолжаю заниматься такими пустяками».

И сама жена — близкий, неизменный и любящий его друг, — и она теперь относится не только с отчуждением, а с прямою враждою к тому новому, чем живет ее муж.

«Я начинаю думать, — пишет она ему, — что если счастливый человек вдруг увидел в жизни только все ужасное, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо... Это тоскливое состояние уж было прежде давно: ты говоришь: “от безверья повеситься хотел?” А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастен?» —

с тупым недоумением спрашивает она. И все убеждает его полечиться — и кумысом, и тем, и другим.

«Я так тебя любил, — отвечает Толстой, — и ты так напомнила мне все то, чем ты старательно убиваешь мою любовь!.. Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, ты пишешь, как про слабость, от которой ты надеешься, что я исправлюсь посредством кумыса».

А Софья Андреевна все с большим раздражением нападает на него:

«Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона... Тогда уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить — это по твоим убеждениям и что тебе так хорошо. Тогда это другое дело, и я могу только сказать: “наслаждайся”, и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колоньи дров и шитье сапог. Ну, теперь об этом будет. Мне стало смешно, и я успокоилась на фразе: “чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало”».

Поражает это невероятное непонимание души Толстого, причин, вызывающих его «тоскливое состояние». Конечно, это тоскливое состояние было вовсе не от болезни. Органически болезненный переход от зрелого возраста к старости, отразившейся в «Исповеди», был назади. Толстой вступил в старость — в ясную, просветленную и умиротворенную старость, прекраснейший удел хороших людей. В письмах, в дневниках Толстого мы постоянно встречаем отражение этого своеобразного старческого жизне-

ощущения — «чувства расширения жизни, переступающей границы рождения и смерти», как выражается Толстой. Он пишет в дневнике:

«Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого, неразрушимого блага. И это — не воображение, а ясно сознаваемая перемена состояния души, переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию. Вот именно выросли крылья. Это-то и есть молитва».

И жизнь кругом захлестывает его душу волнами блаженной радости.

«Вышел вечером за лес и заплакал от радости, благодарной за жизнь», —

пишет он в дневнике.

Но какой-то тяжелый внешний гнет лежит на его жизни и все время мешает ему выпрямиться, мешает целостно зажечь эту блаженную жизнь. И в отчаянии он пишет:

«Хочется плакать над собою, над напрасно губимым остатком жизни».

Он знает ясно и твердо, чего ему нужно и в какие формы надо отлить этот остаток жизни, чтоб он не был загублен. Это — уход из томящей обстановки Ясной Поляны и бездомное странничество по степным и лесным просторам родной земли.

«Необходимость бездомности, бродяжничества для христианина, — пишет он одному из своих друзей, — была для меня в самое первое время моего обращения самой радостной мыслью, объясняющей все, и такую, без которой истинное христианство не полно и не понятно».

Любовно рисует он искупительное странничество о. Сергия, с жадным любопытством изучает историю загадочного старца Федора Кузьмича. Есть легенда, что этот старец был император Александр I, симулировавший в Таганроге свою смерть, положивший в свой гроб засеченного шпирцутенами солдата, а сам ушедший в серое народное море во искупление своих царских грехов. Толстой даже начал писать записки этого Федора Кузьмича.

«Тело солдата, — рассказывает у него Кузьмич, — в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Я же пережил ничтожные, в сравнении с моими преступлениями, страдания и не заслуженные мною величайшие радости».

Всякий, обладающий внутренним зрением, наблюдая Толстого в последний период его жизни, видел ясно, что он давно уже вышел духом из окружавшей его обстановки. Недавно умерший В.В. Розанов гениальным своим пером так рисует свое впечатление от Толстого.

«Мне он показался безусловно прекрасен. Именно так, как ему должно быть. “Только не здесь, не в барской усадьбе”. Как все это не идет к нему, отлепилось от него! Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря — в хибарочке “старцем”; молиться, думать, говорить — не с “гостями”, а с прохожими, со странниками — и самому быть странником. В каком бы доме, казалось, он ни жил, “дом” был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, “идушим к нему”, было поле, лес, природа, село, народ, то есть страна и история. Он явно вышел, перерос условия видного, индивидуального существования, положения в обществе, “профессии”, художества и литературы. “Исповедь” его, по которой он изо всего вышел, — была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже изо всего вышла, осталась одна и единственна, одинока и грустна, но велика и своеобразна».

Да, именно так! Микула Селянинович в детской курточке сидит в душевной спальне. А самый близкий ему человек смотрит, дивится его «тоскливому состоянию», с усмешкою говорит: «чем бы дитя ни тешилось, только б не плакало!» И с любовною заботою: «полечись кумысом»...

Если бы Толстой был писателем, то томление по этой новой, заманчивой для него жизни разрешилось бы просто. Он написал бы историю странничества Федора Кузьмича или о. Сергия, написал бы ярко, захватывающе — и получил бы удовлетворение. Но Толстой — Толстой не был писателем. Он был, пользуясь удачным выражением его биографа, П.И. Бирюкова, «свободным художником жизни». И, лишенный возможности

воплотить свои замыслы в жизнь, в делание, он испытывал муки художника, у которого остановлен и задавлен его творческий порыв.

V.

Но почему же, почему он в таком случае не уходил?

Давно уже смутные слухи настойчиво указывали на одно определенное лицо, упорно загоразивавшее Толстому дорогу к новой жизни. Теперь обе стороны ушли из жизни, теперь опубликованы многие интимные места из дневников и переписки Толстого, напечатан набросок его откровенно автобиографической драмы «И свет во тьме светит». И нет теперь никакого сомнения, что лицом этим была его милая, любящая Кити — его жена.

Тот же В.В. Розанов так описывает свое впечатление от Софьи Андреевны:

«Вошла графиня Софья Андреевна, и я сейчас же ее определил, как “бурю”. Платье шумит. Голос твердый, уверенный. Красива, несмотря на годы. Мне казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться; она же и не может, и не хочет ничему повиноваться. Явно — умна, но несколько практическим умом. “Жена великого писателя с головы до ног”, как Лир был “королем с головы до ног”».

Вот тут — вся суть этой тяжелой драмы. Жена великого писателя с головы до ног. А он — он ни мизинчиком не писатель. О, отчего он не был писателем! Будь он Флобером, Зола, Ибсенем, Достоевским — и как бы хорошо, как радостно и благообразно шла бы жизнь! Широкая слава, всеобщее уважение. Лауреат и почетный член академий всего мира. Колоссальные гонорары. Прекрасная барская усадьба для лета, уютный дом в Москве для зимы. Вполне обеспеченное существование. Большая, дружная семья, счастливые дети, бесчисленные, милые внучата. Всегда полный дом самых избранных гостей. Чего еще желать? О, ей, хозяйке, — ей тут работы без конца; но она на это не жалуется. Работа радостная и привычная. Сложное управление домом и хозяйством, оберегание покоя и удобств великого своего мужа, заботы и хлопоты о детях. Денег, конечно, никогда не хватает — расходов так много! Но энергии у нее довольно. Она сама обшивает мужа и детей, сама издает сочинения мужа — это гораздо выгоднее, чем продавать издателям. Тонет в корректурах, принимает подписку. Судится с мужиками: они так наглы, так бесцеремонно рубят ее лес; если не будет острастки, то скоро и парк начнут рубить. Мало того, что на расходы нужны деньги. Нужно еще обеспечить всех детей. А их очень много. Все они женаты, замужем. Каждому нужно по хорошему именищу.

И вдруг он, центр и солнце этой гармонической системы, говорит: ничего этого не нужно.

«То, что ты называешь важными делами, я называю пустейшими из пустейших».

И мало того, что это не нужно. Все это преступно. Это — разврат, это — грабительство. Нужно отказаться от несправедливо нажитого богатства, отдать землю мужикам, отказаться от права литературной собственности и начать жить трудами рук своих. Все это, конечно, очень было бы хорошо и трогательно в романе. Но в жизни, в жизни! Одним махом собственными руками разрушить благополучие, создавшееся ими обоими в течение десятков лет. Ей самой сбросить с себя шелка и батисты, превратиться в деревенскую бабу, ставить хлебы и доить коров. Детям превратиться в бедняков, захудалых графчиков, и тяжелым трудом зарабатывать себе черствый кусок хлеба. А они так неподготовлены к труду, так привыкли к балам, к винту, к борзым собакам... Да что это — сон? Блажь спятившего с ума человека, не понимающего, что он говорит?

Долго ей хотелось верить, что это так и есть, что это только минутная блажь. Она пишет сестре:

«Левочка все работает, как он выражается, но — увы! — он пишет какие-то религиозные рассуждения... Но делать нечего, я одно желаю, чтоб уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь».

И через пять лет опять: «Левочка кончает свое печатанье, которое сожгут, но все-таки, я надеюсь, что он успокоится». И его самого она пытается убедить, что ничего плохого нет в его жизни, приводит самые неопровержимые доводы: «да ведь это все было. Ведь это у всех — и за границей, и везде».

Но он не успокаивается, и даже ссылка на границу его не убеждает. Он серьезнейшим образом собирается отказаться от владения всем своим имуществом. Тогда любящая жена превращается в разъяренную тигрицу, защищающую свое логово и своих детенышей. Тут уж не до того, что об ней будет говориться в биографиях, не до уважения к великому своему мужу, тут все средства хороши. Когда Толстой захотел осуществить свое намерение, рассказывает его биограф П.И. Бирюков, «ему было категорически объявлено, что если он начнет раздавать имущество, то над ним будет учреждена опека за расточительность, вследствие психического расстройства. Таким образом, ему угрожал дом умалишенных, а имущество все-таки осталось бы в руках семьи».

Начинается долгая, упорная, скрытая от чужих взглядов борьба. Для обеих сторон это не каприз, не упрямство, а борьба за жизнь, за существование. В июле 1891 года Толстой решил опубликовать в газетах письмо с отказом от собственнических прав на свои литературные произведения. Произошла бурная семейная сцена. Характер ее мы ясно можем себе представить по сценам, происходящим между мужем и женой в упомянутой драме «И свет во тьме светит».

«— Нет, это ужасно! За что такая жестокость? Ну ты считаешь грехом, ну отдай мне (*плачет*).

— Ты не знаешь, что ты говоришь. Если я отдам тебе, я не могу оставаться жить с тобой. Я должен уйти.

— Как ты жесток! Какое же это христианство? Это — злость. Ведь не могу я жить, как ты хочешь, не могу я оторвать от своих детей и отдать кому-то... За что ты ненавидишь и казнишь жену, которая тебе все отдала? Скажи, что я: ездила по балам, наряжалась, кокетничала? Вся жизнь моя отдана была семье. Всех сама кормила, воспитывала, последний год вся тяжесть воспитания, управления делами, все на мне...

— Да ведь тяжесть эта от того на тебе, что ты не захотела жить, как я предлагал.

— Да ведь это невозможно. Спроси у всего света. Невозможно оставить детей безграмотными, как ты хотел, и мне самой стирать и готовить кушанья...»

Софья Андреевна так была потрясена разговором, что решила покончить с собой. Она пошла одна на станцию железной дороги Козловку-Засеку, чтоб лечь под поезд. Случайно на большой дороге ее встретил возвращавшийся с прогулки муж ее сестры, А.М. Кузьминский. Вид ее поразил его; он добился от нее признания в ее намерении и сумел отговорить ее.

Толстой настаивал на своем решении. Осенью он послал ей в Москву письмо с отказом от прав на свои литературные произведения и просил ее напечатать письмо в газетах. Софья Андреевна отказалась. Толстой напечатал сам. Этот отказ от собственности на произведения, напечатанные после 1881 года, был единственной победой, которую Толстой сумел одержать в борьбе с женой.

Борьба продолжалась — упорная, мелочная, повседневная. Управляющий Ясной Поляны поймал мужиков за кражей леса; их судили и присудили к шести неделям острога. Они пришли к Софье Андреевне просить, чтоб их помиловали. Софья Андреевна ответила, что ничего не хочет и не может для них сделать. Опять произошел крупный разговор с Львом Николаевичем. Он указывал ей, что пусть у нее нет веры, чтоб простить мужиков из убеждения; пусть нет любви к нему, чтоб из-за нее сделать это; но неужели же он не вправе ждать от нее хоть настолько простого уважения к себе, чтоб не делать ему таких неприятностей, как эта? Софья Андреевна осталась непоколебима и отправила мужиков в острог.

В этом же разговоре Толстой категорически заявил жене, что видит для себя только два выхода из создавшегося положения: либо отдать землю крестьянам и отказаться от имущества, либо уйти из дома. Попытки первого исхода разбились об упорное

сопротивление Софьи Андреевны. Оставался второй исход — казалось бы, самый простой и для обеих сторон наиболее безболезненный. Но не так оказалось на деле.

17 июня 1884 года Толстой пишет в дневнике:

«Вернулся с купанья бодрый, веселый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно, и от которых я хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики — молодые мои два сына. Пошел к себе, спать на диване, но не мог от горя. Ах, как тяжело! Только что заснул в третьем часу, она пришла, разбудила меня: “Прости меня, я рожаю, может быть умру”. Пошла наверх. Начались роды; то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло, как что-то ненужное и тяжелое... Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротою идет к гибели и к страданиям — душевным — ужасным. Когда приехал из Тулы брат, я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения. Не помню как прошел вечер...»

В декабре 1885 года Толстой однажды входит к жене — лицо страшное.

— Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку.

Софья Андреевна удивленно спросила:

— Что случилось?

— Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет.

«Что накладывалось, неизвестно, — в наивном недоумении пишет она сестре. — Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже. Когда же он сказал, что “где ты, там воздух заражен”, я велела принести сундук и стала укладываться. Прибежали дети, рев... Стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочка, и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его...»

И в сознании полной своей правоты она горестно пишет дальше:

«Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну, теперь за что же? Я из дома ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда. И за что?»

И сейчас же следом:

«Подписка на издание идет сильная. Денег выручила 2 000 за 20 дней».

И заканчивает:

«Я все эти нервные взрывы, и мрачность, и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Авось он там у Олсуфьевых образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и пр. он замучил себя до худобы и до нервного состояния».

И такие сцены разыгрывались все чаще. Уходу Толстого из дома Софья Андреевна противилась так же упорно, как раздаче имущества. Почему? Ответ мы находим в драме «И свет во тьме светит».

«— Нет, ты христианин, ты хочешь делать добро, говоришь, что любишь людей, за что же ты казнишь ту женщину, которая отдала тебе всю свою жизнь?»

— Да чем же я казнию? Я и люблю, но...

— Как же не казнишь, когда ты бросаешь меня, уходишь. Что же скажут все? Одно из двух: или я дурная женщина, или ты сумасшедший... И за это я должна нести позор. Да и не позор только. Самое главное то, что ты теперь не любишь меня; ты любишь весь мир и пьяного Александра Петровича — а я все-таки люблю тебя, не могу жить без тебя. За что? За что? *(плачет)*.

— Ведь ты не хочешь понимать моей жизни, моей духовной жизни.

— Я хочу понимать, но не могу понять. Я вижу, что твое христианство сделало то, что ты возненавидел семью, меня. А для чего — не понимаю.

— Маша! Я не нужен тебе. Отпусти меня. Я пытался участвовать в вашей жизни, внести в нее то, что составляет для меня всю жизнь. Но это невозможно. Выходит только то, что я мучаю вас и мучаю себя. Не только мучаю себя, но и гублю то, что я делаю. Мне всякий имеет право сказать и говорит,

что я обманщик, что я говорю, но не делаю, что я проповедую евангельскую бедность, а сам живу в роскоши под предлогом, что я отдал все жене.

— И тебе перед людьми стыдно? Неужели ты не можешь стать выше этого?

— Не мне стыдно, — но и стыдно, — но я гублю дело Божие.

— Делай то, что ты проповедуешь: терпи, люби. Что тебе трудно? Только переносить нас, не лишая нас себя. Ну, что тебя мучает?

— Не могу я так жить. Пожалей меня, я измучился. Отпусти меня. Прощай.

— Если ты уйдешь, я уйду с тобой. А если не с тобой, то уйду под тот поезд, на котором ты поедешь. И пропадай они все, и Миша, и Катя! Боже мой, Боже мой! какое мучение! За что? За что? *(плачет)*».

Простой уход для Толстого становится невозможен. Ему остается только бегство — тайное бегство свободного человека из собственного дома. Крепкими сетями жалости и любви опутан лев, и у него нет сил разорвать эти сети. Нужно потихоньку, ночью, высвободиться из этих сетей и бежать.

В 1897 году Толстой начинает готовить бегство, сговаривается с друзьями. Он собирается поехать в Калугу к И.И. Горбунову, а оттуда — в Финляндию, о чем списывается со своим единомышленником, финляндским писателем Иернефельдом. Жене он оставляет письмо. В нем он пишет:

«Как индусы под шестьдесят лет уходят в лес, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, со своей совестью. Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы остался, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, и в душе своей, главное, ты, Соня, отпусти меня добровольно, и не сетуй на меня, не осуждай меня. То, что я ушел от тебя, не доказывает того, что я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а, напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни. Благодарю, и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня. Любящий тебя Лев Толстой».

Но он на этот раз не уехал. Письмо осталось неотправленным. Характерна запись Толстого в дневнике в день отправки письма к Иернефельду:

«Внутренняя борьба. Мало верю в Бога. Не радуюсь экзамену, а тягочусь им, признавая вперед, что не выдержу. Всю ночь нынче не спал. Рано встал и много молился. Написал письмо Иернефельду. Это одно важно. А силы нет противостоять привычному соблазну. Приди и вселися в ны. Возбуди воскресенье во мне!».

Как будто ясно: соблазн, это — остаться дома, не уехать. Но на запрос Иернефельда о просимой у него помощи Толстой отвечает:

«Теперь соблазн, который заставлял меня искать этой помощи, минован».

И при личной встрече с Иернефельдом в Москве, Толстой сказал: «Да, да, соблазн минован на этот раз». — И потом, оглянувшись, с глубочайшим вздохом скорби прибавил: «Вы извините меня, Арвид Александрович, что я так живу, но, должно быть, так надо». И Черткову он пишет через четыре дня после вышеприведенной записи в дневнике:

«Я плох. Я учу других, а сам не умею жить. Уж который год задаю себе вопрос, следует ли продолжать жить, как я живу, или уйти — и не могу решить. Знаю, что все решается тем, чтобы отречься от себя, и когда достигаю этого, тогда ясно».

Как видим, то для него соблазн — остаться дома, то соблазн — как раз обратное, уйти из опостылевшей обстановки. И вопроса этого он никак не может решить.

Со стороны казалось бы, — вопрос так ясен и бесспорен. Прочтите драму «И свет во тьме светит». Вы недоумеваете — что же мешает Николаю Ивановичу поступить так, как ему приказывает совесть? Что его связывает с его тупою, хитрою и бессердечною женою?

Почему он так покорно и робко отступает каждый раз перед ее напором? Ответ может быть только один: слабый, безвольный человек, совершенно ясно видящий дорогу, но не смеющий выйти из-под власти своей Ксантиппы. Между тем в ремарке этот Николай Иванович характеризуется, как «сильный, энергичный».

Дело в том, что отношения между Толстым и Софьей Андреевной вовсе не походили на отношения между Сократом и Ксантиппой, и не походили также на отношения между Николаем Ивановичем и Марьей Ивановной в драме «И свет во тьме». Драма эта представляет из себя только взволнованный набросок, сделанный художником в горячке личных переживаний. Это только схема, только голый остов, который еще должен был заполниться живою плотью и кровью, засиять внутренним светом толстовского творчества, стоящего выше личного раздражения, полного любви и всепонимания. Тогда и сущность драмы стала бы нам понятнее.

Софья Андреевна — не Ксантиппа, и отношение к ней Толстого — не отношение к своей жене Сократа, стоически спокойно несущего посланную ему судьбою семейную казнь. Толстой горячо и нежно любит жену. В разлуке они неизменно пишут друг другу каждый день. Если два-три дня нет писем, оба они одинаково уж волнуются и беспокоятся. В каждом письме он подробно ей сообщает о своем здоровье и житье — что сегодня у него была изжога, что покалывает в бок, что маленький угар был, что мышь мешала ему спать. Чуть он себя почувствует немного худо — она все бросает и, сама больная, в жару, едет к нему. В 1895 году он ей пишет:

«Хотел тебе написать, милый друг, в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня пишу. Чувство, которое я испытал, было странное умиление, жалость, и совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя, и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью, и что закат будет совсем светлый и ясный».

После смерти их любимого мальчика Ванечки Толстой пишет одному из своих друзей:

«Больше чем когда-нибудь, теперь, когда она так страдает, чувствую всем существом истину слов, что муж и жена не отдельные существа, а одно».

При таком их взаимном отношении нам легче станет понять, почему так смертно труден был для Толстого его уход от жены. Для него это значило — с мукой, с кровью вырвать из сердца глубоко вросшую в него любовь, и вырвать всякую жалость. Он будет глубоко и блаженно дышать свежим воздухом чистой, новой жизни, а в это время она, эта больная, измученная женщина, будет где-то в одиночестве озлобленно исходить в проклятиях и хулениях на жизнь, а возможно — будет уже лежать в земле, изрезанная в куски колесами увезшего его поезда, как Анна Каренина, «жестоко мстительная, торжествующая, свершившая угрозу никому ненужного, но неизгладимого раскаяния». Одною из особенностей Толстого была, между прочим, его способность до боли ярко и осязательно представлять себе рассказываемые или воображаемые события. И он не мог не знать, что угрозы Софьи Андреевны не были пустыми угрозами. После совершившегося бегства Толстого в 1910 году она, как тогда писали в газетах, действительно бросилась в студеной октябрьский пруд, чтоб утопиться, и ее вытащили следившие за нею близкие.

Вот в чем был «соблазн», тридцать лет удерживавший Толстого от ухода, а не в салате из помидоров и ячменном кофе со сливками, которые ему готовила Софья Андреевна. Вот почему он говорил себе «так надо!». То «неожиданное, исключительное унижение», которое ему постоянно приходилось испытывать дома, представлялось ему, именно вследствие своей тяжести, тем бременем, которого он не имеет права сбросить.

«Такое желание, – пишет он Черткову, – есть желание внешних благ для себя — такое же, как желание дворцов, и богатства, и славы, и потому оно не Божие».

И в дневнике он пишет:

«Вместо жертвы примера победительного — скверная, подлая, фарисейская, отталкивающая от учения Христа жизнь. Но ты, Боже, знаешь, что в моем сердце, и чего я хочу. Если не суждено, не нужен я тебе на эту службу, а нужен на навоз, да будет по-твоему. Это скверный эгоизм. Самому хочется? Да. Дай мне жизни настоящей. И эта жизнь есть, и дана, и просить нечего».

Несомненно, что такое решение, даже с евангельской точки зрения — было падением, было сбереганием души — тем сбереганием, о котором в Евангелии сказано: «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». И Евангелие говорит слишком ясно:

«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит... жены своей, и детей своих, тот не может быть моим учеником».

Вот на эту-то святую «ненависть» у Толстого не хватило душевной силы. Но именно этот «соблазн», и только этот, удерживал его от ухода, а не привязанность к внешним благам, его окружавшим.

И столь же несомненно, что, будь у Толстого не такая жена, он уж давно легко и радостно ушел бы в новую жизнь. Как жадно томился он по жене, истинной ему духовной подруге и помощнице, показывает любопытное послесловие его к одному чеховскому рассказу. Помните вы рассказ Чехова «Душечка»? Очень глупенькая девушка с бесконечно любящею душою выходит замуж за антрепренера летнего сада. Всем сердцем она живет его интересами. Самым важным и нужным на свете она считает театр, негодует на публику, которой нужен «балаган», которой подавай «пошлость», а вот у нас вчера шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые. После смерти антрепренера она выходит за лесного торговца — и самым важным делом в жизни начинает считать лесное дело, а о театре отзывается: «Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?» Сходится потом с ветеринаром — и самым важным в жизни считает ветеринарный надзор и т.д. Отношение Чехова к ней — добродушно-насмешливое, и другим, конечно, отношение это и не может быть: полюбит такая «душечка» революционера — и пойдет с ним на смерть; а останется жива, выйдет за палача — и будет ругать революционеров, задающих так много работы ее мужу. Но Толстой от этой «душечки» в восторге; его так подкупает ее способность слиться душою с делом любимого человека, что смешных и отрицательных ее сторон он совершенно не замечает.

«Без женщин-врачей и сочинительниц мы обойдемся, но без помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все то лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее — без таких женщин плохо бы было жить на свете. Не было бы Марии и Магдалины у Христа, не было бы Клары у Франциска Ассизского, не было бы у духоворов их жен, которые не удерживали мужей, а поддерживали их в их мученичестве за правду. В этой любви, обращена ли она к антрепренеру Кукину или к Христу, главная, великая, ничем не заменимая сила женщины».

Относительно Толстого нам горько приходится пожалеть, что женою его не была хоть бы «душечка», если не Мария и не Клара. Мы имели бы в таком случае перед собою невиданно красивую и своеобразную жизнь, цельную и гармоническую. В изображении самого крупного художника она, может быть, казалась бы нам неправдоподобной. А мы бы ее увидели въявь, собственными глазами.

VI.

Но этого не случилось. На дороге Толстого выросла непреодолимая для него преграда — и «биография» остановилась. Степной конь, вольно мчавшийся по равнинам жизни, был насильственно взнуздан и поставлен в конюшню. Помните, как у Флобера:

«Я истощился, скача на одном месте, как лошади, которых дрессируют в конюшне: это ломает им ноги». На целых тридцать лет Толстой оказался запертым в такую конюшню.

Тяжело наблюдать за этот период жизнь Толстого. Такая она сдавленная, скомканная, такая для него несвойственная! По существу он не имеет возможности претворить своих стремлений в дело, а стремления есть, властно требуют своего осуществления. И получается осуществление на одну сотую, на одну тысячную долю — маленькое, ничтожное, вызывающее улыбку и раздражительное недоумение. Дом полон прислуги; горничным и дворникам делать нечего — а Толстой сам стелет себе постель и топит печку. На корм охотничьим собакам молодых графов тратится по сорок четвертей овса в год — «вдвое более того, что осчастливило бы десятки семей», по замечанию Толстого — а Толстой в этой избыточной жизни сам шьет себе сапоги. Лакеи самым существом своей работы поставлены в униженное положение — а Толстой, в этих условиях их работы, демонстративно здоровается с ними за руку, вызывая в них только смущение и конфуз. «Какая-то игра в Робинзона, — презрительно пишет Софья Андреевна. — Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало!»

В Москве Толстой уходит на Воробьевы горы пилить с мужиками дрова — дело, для них нужное, а для него, на их глаза, барское баловство. В деревне у себя сам пашет, косит, убирает сено, когда есть наемные работники. И описание участниками этой работы Толстого дает тяжелое впечатление какой-то ребяческой забавы, игры в мужички — как Толстой серьезно подбадривает их, как говорит: «Наляжем! После солнца нельзя работать. Так старики учат!» Он и на деревне работает — пашет землю у вдовы, сам складывает ей печку. В условиях той бедности, которой Толстой для себя желал, это была бы, действительно, проповедь христианской любви делом. Но теперь, когда это делал барин-граф, когда мимо на великолепных лошадях со сворами борзых собак проезжали сытые, бездельные его сыновья — вдова могла видеть в работе Толстого одну лишь блажь: купил бы сынам парюю собачек меньше — и нечего было бы самому пачкаться да морить себя на ее пашне. И, конечно, Толстой хорошо понимал всю фальшь и ненужность этих своих трудов.

«Мне нехорошо, — пишет он Черткову, — физическая работа почти бесцельная, то есть не вынужденная необходимостью, отношений с окружающими меня людьми почти нет: приходят нищие, я им даю гроши, и они уходят. Мне очень тяжело».

В дневнике своем он рассказывает, как однажды хорошо поговорил с встречным мужиком-пахарем о Боге, как убедил его бросить пить вино. Мужик пришел к нему за книжками.

«Я с гостями сидел на великолепной террасе, перед разбитыми клумбами, с урнами среди цветочных горок — вообще среди той роскошной обстановки, за которую всегда стыдно перед людьми рабочего народа, когда вступаешь с ними в человеческие сношения».

Этот стыд — тяжелый, стесняющий, давящий душу — теперь становится постоянным душевным состоянием Толстого. И это у человека, по натуре своей не переносящего ничего половинчатого, недоделанного, никакой фальши! По натуре своей — бойца, смелого и задорного! Что же это за муки должны были быть!

Пришел однажды в Москве к Толстому сын известного сектанта-крестьянина Сютаева. Сын этот отказался от несения военной службы и только что отбыл наказание в шлиссельбургском дисциплинарном батальоне. После беседы молодой Сютаев собрался уходить, а было уже поздно. Толстой стал оставлять его ночевать. Тот жметса и отказывается.

— Что такое? Почему?

— Да признаться, Лев Николаевич, в бане давно не был. Очень вошь замучила.

— Ну, вот, пустяки какие! Оставайся. Я очень буду рад, если в моем доме рабочая вошь заведется. (Воспоминания И.Ф. Наживина.)

Кто в здоровых, нормальных условиях станет радоваться такой своеобразной чести? И кто, не принужденный переживать этого вечного стыда за себя, способен говорить так?

И все теперь — против Толстого, и даже слава его превращается для него в проклятие. Товарищи его и ученики идут в ссылку, в тюрьмы, в дисциплинарные батальоны, а его самого никто не смеет тронуть. Он пишет министрам, что корень зла — в нем, Толстом, что странно наказывать распространителей его учения, а его самого не трогать. Министры молчат. Александр III злорадно замечает:

«Толстой ждет от меня мученического венца — не дождется!»

Кто делает то, что считает делом своей жизни, не должен бояться мученического венца. Но нелепо желать его. В тех же условиях, в которые попал Толстой, самодовлеющее мученичество — само по себе столь противное его здоровой натуре — начинает ему представляться верхом счастья. Он пишет одному из своих единомышленников, сидящему в тюрьме:

«Ничто бы так вполне не удовлетворило меня и не дало бы мне такой радости, как то, чтобы меня посадили в тюрьму, хорошую, настоящую тюрьму: вонючую, холодную, голодную. Это доставило бы мне на старости лет искреннюю радость и удовлетворение».

Жажда дела все время мучит его великая. Но нет утоления этой жажды. В 1885 году он пишет жене из Крыма:

«Здесь хорошо, но хорошо с людьми своими и с делом. Дело-то, положим, есть мне всегда, но какое-то слишком уже легкое. А я привык к очень напряженному».

А какое такое напряженное дело, в которое он бы ушел всею душою, мог он найти в условиях своей жизни?

В 1891 году значительную часть России постиг жестокий голод. Паллиативное кормление голодающих могло удовлетворить Толстого в 1873 году, во время самарского голода, при тогдашнем его отношении к бедам жизни, как к несчастной случайности. Теперь же он так относиться к этому не мог. Он пишет Лескову:

«Люди, которые живут всегда, не заботясь о народе, часто даже ненавидя и презирая его, вдруг возгораются заботами о меньшем брате! Мотивы их — и тщеславие, и честолюбие, и страх, как бы не ожесточить народ. Я же думаю, что добрых дел нельзя делать вдруг по случаю голода, а что если кто делает добро, тот делал его и вчера, и третьего дня, и будет делать его и завтра, и послезавтра, и во время голода, и не во время голода».

Но слишком в нем сильна потребность деятельности. Он едет в голодные местности на несколько дней, чтобы на месте ознакомиться с положением и написать статью о голоде — увлекается, и остается на два года, и развертывает свою знаменитую деятельность по кормлению голодающих. И два года устраивает столовые, в осеннюю распутицу переезжает из деревни в деревню, весь уходит во всякого рода счета и расчеты, подсчитывает муку, картофель, горох.

«Тут отношения кормящих к кормимым, — пишет он художнику Н.Н. Ге, — тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать».

И все-таки его временами охватывает омерзение

«Я живу скверно, — пишет он одному из друзей. — Сам не знаю, как меня затащило в эту работу по кормлению голодных. Не мне, кормящемуся ими, кормить их. Но затащило так, что я оказался распределителем той блевотины, которою рвет богачей. Это скверно и противно, но не могу. Раз попавши в это положение, уж невозможно, прямо не могу отстраниться».

Нет подходящего дела, которое бы давало удовлетворение душе. И вот весь огромный избыток энергии, раньше уходивший у этого человека в жизнь, теперь направляется... на писание. Он пишет, пишет, пишет... Все пишет о том, как нужно служить Богу, как нужно жить. Еще в 1881 году он писал В.И. Алексееву:

«То, что я писал и говорил, достаточно для того, чтоб указать путь; всякий ищущий сам найдет, и найдет лучше и больше, и свойственнее себе доводы, но дело в том, чтоб показать путь. Теперь же я убедился, что показать путь может только жизнь — пример жизни... Действие этого примера одно дает толчок, пример — доказательство возможности христианской, то есть разумной и счастливой жизни при всех возможных условиях, — это одно двигает людей».

Но этого-то одного Толстой и не имел возможности дать. Он пишет другу, сообщившему ему о мужественном поведении в тюрьме двух его последователей:

«Какая сила! И как радостно — все-таки радостно за них и стыдно за себя... Одно остается: сидя за кофеем, который мне подают и готовят, писать, писать... Какая гадость! Как бы хотелось набраться этих святых вшей. И сколько таких вшивых учителей, и сколько сейчас готовится...»

И он пишет, пишет... Ужасно много пишет. «Я перестал себя чувствовать: une machine а есіге (пишущая машина)», — сообщает он жене. Когда сотни за сотнями перелистываешь страницы религиозных писаний Толстого, думаешь: все учение Христа полно изложено в одной маленькой книжечке, да и то наполовину заполненной повторениями и рассказами о всяких чудесах. Нужно ли было для дела Толстого его многописание? И суть здесь не в несогласии с его взглядами. Книга Иова и Евангелие, Платон и Марк Аврелий, Паскаль и Ламеннэ, Шопенгауэр и Ницше — можно с ними совершенно не соглашаться и все-таки с наслаждением читать их и перечитывать. Но навряд ли кто-нибудь, кроме правоверных учеников Толстого, перечитывает томы его религиозных писаний. Скучны они. И в них совершенно уже не чувствуется духа искания — этого духа, составляющего главную прелесть Толстого. Теперь истина вся целиком в его обладании.

Случилось то же, что случилось бы, если бы Толстому в свое время не пришлось жениться. Мы знаем, какое важное и серьезное значение придавал он семейной жизни. Женился он уж тридцати четырех лет. Легко могло случиться, что и в эти годы он не нашел бы подходящей подруги — именно потому, что слишком большое значение придавал этому. И остался бы холостяком. И тогда бы всю жизнь он много и упорно писал бы о счастье и поэзии семейной жизни — желанной и недостигнутой. И не было бы у нас «Крейцеровой Сонаты», не услышали бы мы от него о браке того, что он писал, изжив семейную жизнь. Например:

«Главная причина семейных несчастий та, что люди воспитаны в мысли, что брак дает счастье. Но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворенное половое желание» (Дневник).

Так и теперь. Найденная Толстым истина, не претворенная в жизнь, постепенно за-коченела, застыла, сделалась абсолютною. Толстой стал «пророком». Тяжелая болезнь в 1901 году, как подступившая смерть в 1910, по-видимому, опять всколыхнула этот ищущий дух. Характерно наблюдение Максима Горького о перемене, которую он заметил в Толстом во время болезни:

«Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачнее, жизнеприемлемее. Глаза еще острее, взгляд пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, — человеком решенных вопросов».

Нечего гадать, что было бы с Толстым, если бы он осуществил в жизни свое учение, — к какого рода углублению и расширению живой жизни он бы пришел. Но одно несомненно — куда-то он пошел бы дальше. Один богатый и знатный японец, бывший журналист, Току-Томи, стал толстовцем. Он пишет о себе в сборнике, изданном П.А. Сергеенко ко дню 80-летия Толстого:

«Теперь я живу на маленькой ферме недалеко от Токио, в крошечном домике, со своею женою и собакою. Я развожу картофель и другие овощи. Я провожу день за днем, работая заступом, обрабатывая землю и выпалывая сорные травы. Почва так не возделана, сорные травы так быстро растут, особенно в эти летние дни. Все время, всю энергию я трачу на то, чтобы полоть, полоть, полоть...

Может быть, таков уклад моей души, может быть, таков строй несовершенного мира. Однако, я вполне счастлив. У нас прекрасный сон и хороший аппетит. У нас есть все, что нам нужно».

Он вполне счастлив. И, может быть, на всю жизнь останется счастлив и доволен собою. А Толстой — он, возможно, пополю бы год-другой, а потом... Потом дикий конь перескочил бы через забор огорода и помчался бы куда-то вдаль... Куда? Кто знает? Но как обидно, как горько обидно, что судьба так долго проморила в запертом стойле этого великолепного арабского коня и на тридцать лет задержала его прекрасный бег!

VII.

В 1910 году, темною октябрьской ночью, Толстой тайно покинул Ясную Поляну. В письме, оставленном жене, он писал, что не может больше жить в той роскоши, которая его окружает, что хочет провести последние годы жизни в уединении и тиши, просил жену понять это и не ездить за ним, если она узнает, где он.

Он поехал к своей сестре-монахине в Шамардино, Калужской губернии, думал прожить там с месяц. И вдруг зловещий призрак женщины, искривившей всю его жизнь за последние тридцать лет, опять встает на горизонте. Получено известие, что Софья Андреевна едет за ним. Больной с повышенной температурой, под дождем и ветром, он рано утром с другом-доктором и дочерью уезжает на лошадях за восемнадцать верст в Козельск, там садится в поезд, чтобы добраться в Ростов. На станции Астапово, тяжело больного, его приходится снять с поезда и поместить в домике начальника станции.

Он умирает — это ясно и для него самого, и для всех окружающих. И не как пророк он умирает. Опять перед нами прежний Толстой — ничего еще окончательно не нашедший, все еще ищущий.

— А мужики-то, мужики-то как умирают, — жалостно говорит он. — Как видно, мне в грехах придется умирать...

И перед самою смертью шепчет про себя:

— Не понимаю, что мне делать!

Последние слова Гете были: «побольше света!». Последние слова Виктора Гюго были тоже какие-то очень хорошие — не помню, какие. Последние слова Толстого: «не понимаю!». И пускай. В своем роде эти слова еще прекраснее, чем самые возвышенные изречения.

Толстой не был пророком, не был святым. Но он был чем-то, что не менее важно для жизни. Он был страстным, безоглядным искателем, человеком, «взыскующим града». И был он еще художником, сумевшим собственную свою жизнь сделать одним из самых прекрасных своих произведений. И благодарение судьбе, что она дала ему возможность своим уходом внести последний, заключительный штрих в это художественное произведение жизни. Толстой умер не в прочно-оседлом яснополянском обиталище, он умер в пути, на глухом полустанке. Но через этот полустанок, ярко блестя рельсами, уходит вдаль бесконечная дорога...